

# Рождественские Истории



Книга четвертая  
**ЧЕХОВ**  
**СОЛОГУБ**  
**ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ**

## Аннотация

*Четвертая книга из серии «Рождественские истории» познакомит вас с творениями русских писателей – Антоном Чеховым, Федором Сологубом и Николаем Гарином-Михайловским. Рождественскими мотивами богаты рассказы Чехова, в которых он в легкой форме пишет о детстве и о семье. Более тяжелые и философские темы в рассказах «накануне Рождества» затрагивают знаменитый русский символист Сологуб, а также писатель и по совместительству строитель железных дорог Гарин-Михайловский.*

*«Рождественские истории» – серия из 7 книг, в которых вы прочитаете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова.*

*В «Рождественских историях» вас ждут волшебство, чудесные перерождения героев, победы добра над злом, невероятные стечения обстоятельств, счастливые концовки и трагические финалы. Вместе с героями вы проникнитесь важностью добрых дел человеческих, задумаетесь о бескорыстии, о свете и милосердии, о божественном в человеке.*

# **Николай Гарин-Михайловский Федор Сологуб Антон Чехов Рождественские истории**

**(сборник 4 ч.)**

## **Предисловие от составителя**

Книга, которую вы собираетесь почитать, вышла в серии «Рождественские истории». В семи книгах серии вы найдете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

Под одной обложкой мы собрали рассказы и повести, были и притчи, написанные Андерсеном, Гоголем, Диккенсом, Гофманом и Лесковым, Горьким и Мопассаном.

В «Рождественских историях» вас ждут волшебство, чудесные перерождения героев, победы добра над злом, невероятные стечения обстоятельств, счастливые концовки и трагические финалы. Вместе с героями вы проникнитесь важностью добрых дел человеческих, задумаетесь о

бескорыстии, о свете и милосердии, о божественном в человеке. На страницах этих книг вам откроются (или вспомнятся) истины, которыми захочется поделиться с родными, близкими и даже незнакомыми людьми накануне великого праздника.

Рождественский или святочный рассказ — это занимательный, но подзабытый нынче жанр классической литературы. Чего не скажешь о XIX веке, когда этими рассказами захлеб зачитывалась вся Европа. Англичанин Чарльз Диккенс со своими «Рождественскими повестями» стал не только основателем жанра, но и «изобретателем Рождества». Через некоторое время в Дании внес свою лепту в чтение, расцвеченное рождественским сиянием, сказочник Ханс Христиан Андерсен — написав удивительной силы трагическую и в то же время светлую историю «Девочка со спичками».

В русской литературе рождественский рассказ успешно прижился и приобрел самобытные черты. «Русским Диккенсом» по праву называют Николая Лескова, автора целого цикла святочных рассказов. Наделяя свои произведения моральным подтекстом, элементами фантастики и веселой концовкой, Лесков все же утверждал, что *«святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и*

*нравы»* . В этом жанре писали Достоевский, Чехов, Куприн. И у каждого из них ощутимо то, о чем говорил Лесков.

Дабы не ограничивать околорождественское литературное многообразие лишь святочными рассказами, мы также напомним вам о великом мистике Николае Гоголе и его повести «Ночь перед Рождеством», которая, кстати, была издана на десять лет ранее Диккенсовских повестей.

Нельзя было не включить в список для рождественского чтения притчу Льва Толстого о добром сапожнике «Где любовь, там и Бог», которую в различных пересказах и интерпретациях издают во всем мире и считают одной из настольных книг к Рождеству. Наверняка вам также будет интересно, что думают о Рождестве герои Ги де Мопассана. Удивят вас необычными рождественскими сюжетами и русские литераторы (К. Станюкович, В. Желиховская, Н. Гарин-Михайловский и др.), чье творческое наследие и сегодня заслуживает читательского внимания.

Светлого вам Рождества и увлекательного чтения!

*Наталья Уварова*

# Николай Гарин-Михайловский

## Сочельник в русской деревне

### I

Нет ничего неприятнее, как запаздывать к празднику, а особенно к такому, как сочельник. У нас, у южан, елка всегда в сочельник, и с раннего детства связаны с этим вечером воспоминания тихого семейного кружка, радостей елки, этих светлых радостей, не потерявших и теперь своей прелести и, главным образом потому, вероятно, что источник их — не «я» и не эгоистические инстинкты борьбы за существование, а радость и удовольствие других.

Как ни опутывает тебя эта сеть мелких, пошлых дрызг будничной жизни, а в такой вечер все-таки отбросишь их и поживешь другою жизнью.

Сердце точно отходит, делается теплее, отзывчивее и сильнее тянет к людям.

Судьба забросила меня на север, где ни кутьи, ни елки нет в сочельник, но в своей семье я продолжаю строго придерживаться обычаев юга, и сочельник для меня дороже всех вечеров в году. Если к этому прибавить, что я вез с собою все нужное для елки, что мое сердце тоскливо сжималось от мысли, что дети напрасно прождут

сегодня дорогого гостя, тревожно угадывая его в каждом шорохе извне, что так и спать лягут разочарованные, грустные... Если прибавить, что я ехал из Петербурга, из этого равнодушного мира холодной абстракции и рвался душой в тесный круг любящих людей, то, может быть, понятно будет все мое огорчение.

Уже начинались сумерки великого вечера, уже первая звезда блеснула в потемневшем небе, когда тройка дымящихся лошадей, завидев станцию, подхватила опять и понесла мой полукрытый возок каким-то надорванным карьером.

— Тпррру...

Это была предпоследняя станция. Я не хотел вылезать, сидел в облаках пара, ждал смены и отдавался своим впечатлениям, зажавшись в угол возка.

Какая-то обаятельная сила для меня в сочельнике! И здесь, даже в этой обстановке, он ощущался.

— Христа ради...

Предо мною стояла сморщенная старуха, и ее большие серые глаза как-то покорно-вымученно ждали ответа.

Я дал ей и следил, как она пошла от меня сгорбленная, приседая на правую, очевидно больную ногу.

Она исчезла в неясных сумерках темневшей улицы, а еще дальше вырисовывалась другая фигура — мальчика, переходившего дорогу, тоже с котомкой, очевидно не заметившего ни меня, ни сцены подачи милостыни.

Меня от нечего делать заинтересовал вопрос: укажет ли старуха мальчику на меня, или эгоистично пройдет мимо.

Старуха встретила, остановила мальчика и тихо, медленно пошла с ним назад ко мне. Мальчик доверчиво, послушно шел возле старухи. В сочетании их фигур было что-то и простое, и сильное, невольно тянувшее к себе.

Я с особенным удовольствием полез в карман.

— Праздничек, батюшка, — удовлетворенно произнесла старуха, наблюдая, как мальчик принял деньги и спокойно и аккуратно положил их в маленькую торбочку, привязанную к поясу.

— Сиротка... ни отца, ни матери... А их-то, деточек, сам-пять... Кормилец...

Тепло, ласково, точно любуясь, приподняла руку старуха на мальчика.

— И-и! горе-то, горе... Спасибо, родимый... в этакий праздник...

И умиленно, растроганно повторив: «великий, батюшка, праздник», — старуха зашагала дальше.

Мальчик еще раз взглянул на свою сумочку-котомку, еще раз аккуратно оправил ее;

вскинул на меня своими большими глазами и зашагал деловитой, уверенной походкой взрослого человека, у которого спорится дело.

Дело?! Конечно, дело, к которому он и относится аккуратно, добросовестно и даже с любовью. А если это гадкое, скверное дело съест в нем со временем все то лучшее, чем наделила его природа, то уж это не его вина.

Опустела улица. Тихо, неподвижно. И я вспомнил невольное оживление в этот вечер в малороссийских деревнях: на улицах толпы парбков и дивчат, песни, колядки.

Степенный хозяин налаживал возок, разбирал вожжи, аккуратнее закрутил концы их за выступ облучка, распорядился двумя сыновьями, выносившими сбрую и, кончив все, еще раз оправив вожжи и потрогав для чего-то оглобли, подошел, почесываясь, ко мне.

— Овсеца лошадам засыпал... побегут лучше... В избу бы, покамест что... самоварчик...

— Самовар готовый?

— Самовар — дело минутное.

Я тяжело выбрался из возка и с наслаждением вытянулся, разминая окоченевшие от двухсуточной езды члены.

Отвратительное ощущение от такой езды — точно какая-то ледяная кора нарастает, и вы все глубже и глубже уходите куда-то внутрь этой коры.

Точно и не вы уж, а кто-то другой и сидит и смотрит остановившимися глазами. Временами не то сон, не то дрема вдруг спустится, захватит вас и сразу оторвет и мысль и сознание, и опять выпустит. И сидишь, прижатый, и смотришь в эту бледную, мутно-молочную ночь. Льются и звенят колокольчики, разливаются и дрожат в мерзлом воздухе и уж, кажется, несутся из этой прозрачной, там глубже, розовой мути. И в этом розовом блеске чудится целый город, многоэтажные дома с рядами теплых окон. И вдруг мелькнет в них огонек и потянет к себе... Смотришь: нет, это не город, — это волны холодного тумана и не огонь в окне: это звездочка сверкнула с недосыгаемой выси небес на белую, в саване, даль. И еще скучнее, еще неуютнее станет: лежишь, как мертвец, парализованный и только в каком-то отвлечении сознаешь, что живешь.

Зато хорошо в теплой, светлой избе. Ласковые приветливые лица. Хозяйка старуха стоит и снисходительно смотрит, поджав плотно руки, как меня раздевают. Другая баба, молодуха, — у перегородки, с печки глядит третья с бледным, испитым лицом, а за ней куча ребятишек выглядывает.

Это не радушие хохлов, — сдержанность проглядывает в каждом движении; но приветливость чувствуется.

В избе идет какой-то разговор. Чувствуется во всех какое-то особое удовлетворение и особенно в хозяйке. Она то разведет руками, то плотно-плотно прижмет их и задумается, и опять, точно вспомнив что-то, как-то удовлетворенно оживится, разведет руками и заговорит.

Я все вспоминаю Малороссию, колядки, оживление, и еще бледнее вырисовывается этот великий вечер в этой прозаичной избе. И опять я слушаю. Все тот же неинтересный, будничный разговор и все то же удовлетворение и интерес и в говорящем и в слушающих. Все смотрят, слушают; дети подперлись и свесили свои головки с печки, и у всех глаза так оживленно, так мягко смотрят на говорящего. Точно говорится не о том, что я слышу, а о чем-то другом, чего я не знаю. А они знают и понимают. Я один не знаю, и они знают, что я не знаю, и от этого их лица светлеют так, точно, кроме этой лампы, еще льет откуда-то свет, мягкий, ровный, спокойный. Точно что-то скрытое, неуловимое разливается, охватывает всех и сливается в одно целое.

А-а! Я начинаю улавливать следы бледного праздника. Мальчишка с печки выдает секрет. У него так блестит его курчавая головка, так сверкают глазки, так усердно он, то и дело, оправляет свою красную рубаху, что я, наконец, замечаю. Вон и на старухе темный, но новый платок. И сарафан

цветной. У молодухи красный, яркий и белая, чистая рубаха. Даже у бабы на печке, несмотря на старый костюм, вид нарядный: из-под платка блестит пробор и гладко причесанные волосы. Пол вымыт и выскоблен стол, и не видно тараканов.

Все-таки праздник.

Подали самовар. Я проголодался, развернул провизию и принялся за еду.

— Кусочек! — протянул с печки бутуз, соблазненный моей едой.

Старуха неохотно поглядела на ящик стола, где лежал хлеб.

— Не след бы в этакий праздник по два раза... ну да мал еще... отрежь, что ль.

Молодуха взяла нож, достала хлеб и, отрезав кусочек, отнесла бутузу.

— У нас, у хохлов, — проговорил я, — в этот вечер песни, парни, девки ходят по улицам, кутью едят.

— Нет, у нас нет этого заведения... — ответила вполоборота хозяйка и обратилась к бабе, лежавшей на печке: — Намедни Власыха приходила.

С печки раздался тяжелый вздох.

— Плакали уж мы с ней, плакали.

Хозяйка вытерла нос, помолчала и промолвила:

— Не смотрела бы.

Она еще помолчала и прибавила:

— Последнее, кажись, отдала бы, чтоб слез не видать.

— У них что ж. Нужда?

— Чего не нужда? У людей праздник, а у них в избе, ты скажи, ни кусочка, ни полена, ни света. Старик-то вовсе развалился, — повернулась старуха к бабе на печке. — Так тычутся по избе. Ах ты, господи.

— Страсть, страсть, — судорожно встрепенулась баба на печке. — И не приведи ты, господи!

— Что ж они, одинокие?

— Детные... Детей-то еще с осени услали Христовым именем кормиться, а сами уж тут как-нибудь. И от тех-то ни письмеца, ни весточки, а холода-то, вишь, какие... одежонка какая... долго ль...

— Храни господь.

— Уж не так нуждой, как вот этим, что весточки нет, убиваются. Родительскому сердцу каково терпеть?

Вошедший, лет девятнадцати, парень, присел на кровать.

— Ночь-то до-о-лгая... на пустое брюхо-то чего, чего не передумаешь...

— Эх, нужда... — отозвалась баба с печки. — Семенов, солдат... пришла к нему, а он муку

просеивает. А кругом-то восемь их, да всё мал мала меньше. Болтушечку-то заместо хлебца.

— Ах ты... — вздохнула хозяйка.

— Гляжу это я, — так просто сердце во мне переворачивается. А он сеет, сеет. А тут, как стукнет ситом по столу. «Только, говорит, разбежаться да в воду»...

— Ах ты, господи, господи!

— Что ж, у вас неурожаи, что ли?

— Настоящего это неурожаю нет... — заговорил вошедший хозяин. — А так идет да идет: и земля выпахалась, да и сеять — хуже купи хлеба приходится; купить его если, денег негде добиться. Так и колотится народ, а нужда гонит; глядишь, кой-какой хлебушек смотал, а там опять его назад покупай. Продал втридешева, купил втридорога, а купить-то не на что. А тут еще хворь пошла... Вот и дела тут наши мужицкие все... Лошади готовы.

Я встал, вынул из кармана деньги, подошел к хозяйке и попросил ее передать старикам и солдату.

Хозяйка нерешительно взяла деньги и не сразу ответила.

— Спаси тебя Христос, — долетел ко мне ее взволнованный голос в то время, когда я исчезал в своих шубах.

В голосе ли старухи, во всей ли этой обстановке было что-то приподнятое, но какая-то волна и меня подняла, и, чтоб успокоиться, я еще

сосредоточенней занялся своим одеванием.

Когда я кончил и поднял глаза, я смутился от того, что увидел: и лежавшая на печке с испитым лицом баба плакала, и хозяйка вытирала глаза, смотря в то же время радостно, серьезно вперед; ребятишки притихли, пригнули головы, и в избе воцарилась какая-то особенная, торжественная тишина.

Еще сильнее меня охватил великий праздник этой светлой избы, и, взволнованный, я подумал, что был неправ, унижая силу впечатления русского крестьянского сочельника перед малороссийским.

## II

Я вышел; меня усадили, укутали, и мы понеслись. Меня вез младший сын хозяина. Звезды ярко сверкали в небе; было темно; предо мною мелькали огни темных, точно нахохлившихся изб; я сидел, полный свежих сильных ощущений.

— Эй вы-ы, васка-а-сы-ы! — несся веселый, возбужденный голос молодого ямщика, и в ответ ему, еще веселее разливаясь, говорила пара серебряных колокольчиков.

— Погляды-ы-ва-ай!

Мы летели, возок мягко перебрасывало, я сидел, и меня все сильнее и сильнее охватывала какая-то жажда продолжения впечатлений

праздничной избы.

Здесь, в этих избах еще продолжается этот великий вечер. Когда я приеду домой, его уж сменит ночь и остаток этого, с таким сильным впечатлением начавшегося вечера пропадет в скучном переезде.

— У Анисимовых лошадь едят, — повернулся ко мне мой ямщик. — Пра-а! Староста с десятским идет, этта, а он свежует ее, неначе быка. Чтой-то, — они думают, значит, промеж себя, — делает он? надо узнать. К нему: «Ты что?» — «Да я, говорит, есть ее буду!..» Пра-а! Вот изба-то его!

— Подъезжай к избе.

Невзрачная, покривившаяся изба; свет из бокового окна помогает мне нащупывать тесный темный проход в маленькие сенцы. Отыскав дверь, я отворяю и вхожу.

Маленький ночник освещает нищенскую избу. Тяжелый, спертый воздух, следы белой штукатурки на печке, еще более подчеркивающие неопрятную нищету; детские головы с печи, с полатей, раскидавшийся под тулупом на кровати лет шести мальчик, очевидно больной, с тонкими чертами лица, с тонкими полузакрытыми веками голубых неподвижных глазок; длинная растерянная фигура крестьянина с неприятным лицом, не то испуганно, не то нехотя поднявшегося с лавки...

Да, он ел лошадиное мясо.

Равнодушные глазки смотрели с печей, с полатей, а он вытаскивал грязный котел с какою-то зеленою накипью сверху. Он поставил котел и ткнул пальцем в слизистую кучу, и не то улыбка, не то гримаса тоски, отвращения, презрения скривила его губы. Точно он сам сомневался и не верил.

— Чего станешь делать? Ушел бы, куда глаза глядят... Малые-то дети чем повинны?

Я посмотрел в его лицо: нет, оно не было неприятно, потому что на нем было сильно оттиснуто чувство любви к этим малым неповинным детям. Он, конечно, мог бы уйти: третья часть изб на селе стоит заколоченная.

— Хозяйка твоя где?

— Хозяйка померла, — угрюмо собрался он.

— Давно?

— Не так что... прошлым месяцем.

— Тоже ела?

— Не стала есть... — потупился крестьянин.

— С чего померла?

— Господь ее знает.

— Мамка, — заговорила быстро с печки девочка лет десяти, — все собирала, все собирала... А тут залезла на печку, бат: «Ох, деточки, устала я...»

Девочка остановилась, точно забыла, что дальше было.

— Больше и не слезала? — подсказал я ей.

— Нет, не слезила, — грустно ответила

девочка, — померла.

Я дал денег, детям дал лакомства и видел, как с равнодушно напряженных лиц сбежала их неподвижность, видел ожившего, воспрявшего духом крестьянина.

— Эх, бывало, жили прежде... Праздник придет... уберет этта... Весе-о-лая была... Печку выбелит; где какой кусочек найдет, к стенке приклеит... вишь понаклеила? Любила...

По стенам смотрели на меня следы той, которая теперь, оторванная от семьи, лежала в своей холодной могиле и ни в чем не нуждалась.

Кусок красной афиши и оторванные слова: «танцевальный» и ниже «в пользу»...

Ох, какой тоской сжалось сердце: не в пользу ли голодающих?

Только маленькому мальчику не принес я утешения: он еще сиротливее лежал на своей кровати; все так же были полузакрыты голубенькие глазки и только изредка взмахивал он своими тонкими ручками, которые опять бессильно падали на подушку.

— Больной? — спросил я.

— Схватило чтой-то... Все за мамкой убивался. Жалела она, вишь, его все бывало... вот и манит.

Сколько мягкой, теплой тоски. Я смотрю в это показавшееся мне неприятным лицо и с грустью

думаю: весь он олицетворенная любовь, и каждое его слово, каждая нотка так и дышит этой тоской любви, этой потребностью любить.

Девочка, доверчиво, как с равным, делится с ним впечатлением подарка, показывает картинку, конфеты. Он ласково гладит своим заскорузлым пальцем по картинке и, счастливый ее радостью, говорит:

— Ишь, ты!

Он провожает меня в сени и твердит:

— Все бы претерпеть можно. Так перед тобой, как га духу, вот покаюсь... Свел я лошадь эту самую, что вот ели... прямо сказать, на отчаяние было пошел, а все так считаю, меньше того грех, что ел ее и свою и детские утробы погадил... Слава тебе, господи, что в этакой-то день сохранил-то Христос. Чуюло точно сердце... Совсем, совсем надумаюсь, а тут назад опять: «Не ешьте, деточки... что будет до утра»... Послал милость Христос: пожалел нас, несчастных. В этакий бы день согрешить — пропал бы навеки... Спаси тебя Христос и царица небесная... с праздником нас сделал... Сегодня же я эту окаянную пищу, чтоб и духу ее не было... Людям в глаза не смотрел бы ведь... Тошно, родимый... Эх, хозяйку-то жаль... Баба какая: горя не знал! Песни поет, уберется бывало... в поле там ли, по дому... Износу ей не было. Все бы ничего... все дело погубил

управитель: помер сегодня, царство ему небесное, не тем будь помянут... скрутил ренду. Чего делать? пошел я было по сбору... Отшатился к сытой стороне... Есть хлебушек — опять нашего брата с голодной стороны набилось... видимо-невидимо... так кучей и ходим... Совестно инда. А тут еще батюшка знакомый, у нас, значит, допрежь того был... знал меня за настоящего мужика. Не глядел бы... Так, подумал, да назад и пошел. Пришел домой: хуже да хуже... точно петлей захлестывает; сошлось все: нет ходу... Тут и хозяйка не годиться стала. Тут вот я и надумал на отчаянность пойти... Шел на другое, правду сказать, дело, — на лошадь попал. На базар ее? — как раз пропадешь... Тут и вступило в голову... Хотел в ночь убраться, дня прихватил... Тут староста, десятский: «Ты что?» — «Что ж, братцы, глядите: есть стану. Чего ж тут делать?» Так они от меня, точно от проклятого, как шарахнутся и спрашивать не стали — откуда, что... С той поры вот мимо да мимо, как от заразы. И хозяйка корит... не ест... Тут, как померла, уж пришли... Старец есть у нас — древний человек... на костылях пришел. Читает псалтирь, а сам так и терпеть не может: жалость, значит... Бросил это читать: «Мать, говорит, встань! иди к детям, меня старого пусти в гроб...» Чего уж тут слез было... Он плачет, народ воем-воют... Так я думал, что нутро мое все оторвется... Инда так вот жаль, так...

Эх, не жил бы!

Лицо мужика дрогнуло, скривилось и тяжелые, крупные слезы медленно поползли по щекам.

— Кто здесь еще бедный? — спросил я своего ямщика.

И, по его указанию, я пошел по избам.

Я видел этого умершего управителя: щетинистый, старый, с большим синим носом, он лежал насупившийся в своем гробе. Его усы как-то странно торчали. Он лежал и точно думал какую-то крепкую думу.

Старуха сиделка рассказывала, а он вставал предо мною живой, этот озабоченный, собравшийся старик. Он служил много и долго своему хозяину-купцу. Через его руки прошел столб денег выше его. Он стоял за хозяйское добро; жал, донимал мужиков штрафами и даже в этом году собрал с них аренду. Его били. Раз в лесу его посадили в муравейную кучу; в другой раз поймали в лесу и привязали руками к длинной-длинной жерди. Я смотрел в его лицо, и предо мною вставала эта фигура, распятая на жерди, боком неуклюже пробирающаяся, тихо, осторожно в густом лесу. Его называли скупым, боялись, ненавидели, смеялись над ним. Он получал восемь рублей в месяц, жил в бедной лачуге, несмотря на то, что управлял несколькими тысячами десятин

земли и, следовательно, мог воровать много.

Он умер, бич всех, на своей должности и в записке на имя священника просил собранные им сто семнадцать рублей раздать нищим его прихода.

Старуха качала своей старой головой и говорила, что люди толкуют, будто деньги его проклятые, что он душу черту продал и проку не будет от его денег добрым людям.

Он не слышал рассказов старухи; его ус торчал; он лежал и думал свою крепкую думу.

В маленькой, тесной избе лежали мужик, баба и пять душ детей — все в горячке.

— Кто в избе? — спросил я, ощупываясь в темноте.

— Люди, батюшка, люди, — ответил встрепанный мужской голос.

— Люди, люди, — подхватил возбужденный горячечным бредом, точно веселый женский голос.

Спичка на мгновение осветила закоптелые в курной избе стены, покрытые, точно блестками, сажей; осветила неясный силуэт мужика на печи и из-за него выглядывавшую в какой-то груде цветных тряпок бледную физиономию бабы. Спичка потухла, и осталось впечатление не то склепа с заживо погребенными, не то какого-то дикого, веселого в своем безумии маскарада.

— Все больны?

— Все, батюшка... Я последний сегодня.

— Все, все... — взвизгнула баба.

— Кто ходит?

— Нет, никто, — лежим да и ладно.

— Лежим, лежим... — подхватила баба. —

Колобами лежим.

— Хлеб есть?

— Нету хлеба; не емши лежим.

— Не емши, не емши, — истерично  
взвизгнула баба.

Даже вручить помощь некому было.

Я вышел и посоветовался с ямщиком.

— Старец тут, в келейке, рядом... сам-то  
недужный, а умственный... распорядится...

Я зашел к старцу. Перегнувшись, я спустился  
в его келейку и при слабом мерцании восковой  
свечки у иконы разглядел и сидевшего старца и  
нищенскую чистоту его обстановки.

Мне бросился в глаза контраст, странное  
сочетание ветхого, разрушенного тела с силой его  
горящих молодых глаз.

Он точно ждал меня и, грустный,  
удовлетворенный, опираясь на свои костыли,  
смотрел мне в глаза.

— С молоду думал звезды с неба достать...  
Ум мне беспокойный вложил господь, сердце  
горячее... Не терпел неправды... точно жгло... Все  
до предела хотел достигнуть... корень зла искал...  
И не сыскал, не сыскал, отец мой... В бездне погиб